

Мир образов и образ мира в лексической структуре текста

Н. Е. Сулименко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Понимание картины мира (КМ) как подвижной, динамичной системы образов и представлений, определяющей поведение людей, позволяет связать отдельные образы текстового пространства со всей КМ этноса, социальной группы, отдельной языковой личности, с их культурой. Эти образы, объективируемые в лексическом пространстве текста, служат отражением определенных фрагментов целостного образа мира, реализуемых в семантике возможных миров, в различных типах дискурсов, в различных культурных кодах. Согласно данным «Философского словаря» (11), картина мира целиком определяет своеобразие восприятия и интерпретации любых событий и явлений, служит фундаментом действий человека в мире.

Когнитивно-культурологический подход предполагает принципиальную неразграниченность для нашего сознания лингвистических и энциклопедических знаний; фильтрующая информация роль картины мира обнаруживает себя в управлении поведением человека, своим и чужим, в рефлексии и саморефлексии. По словам Л. С. Выготского, «сознание есть орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать. И в этом его положительная роль – не в отражении (отражает и непсихическое; термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно отражать, то есть субъективно искажать действительность в пользу организма» (3, с. 347). Значимость истоков, корней формирования сознания и связанной с ним картины мира как целостного его образа подтверждается и новейшими исследованиями: установлено, что при усложнении степеней рефлексии «мышление как адаптивный процесс исчезает, то есть перестает служить своему прямому назначению... общий закон развития состоит в том, что всякая неудача, всякий провал ведут к регрессу, вызывают возвращение к корням. Из-под рациональной оболочки проступают бессознательные архетипы магического поведения» (10, с. 331, 246). Вместе с тем, «высочайший взлет духа, приводящий к прозрению судеб мира, рождается из высочайшей культуры мышления. Последнее,

сделав виток, снова приходит к осознанию необходимости видеть мир в его первозданной чистоте... Так что «Спаситель» мира и его «Губитель» сидят в одной шкатулке!» (10, с. 339). Примером такого витка мышления на пути к прозрению судеб мира может служить правозащитная деятельность А. Д. Сахарова, не пожелавшего остаться в истории только отцом водородной бомбы, то есть представителем технократической, левополушарной цивилизации в одном из ярчайших ее проявлений.

Формирование всех структур мозга человека, и древних, и новых, под влиянием его потребностей, мотивационной сферы стало предметом внимания ученых-специалистов по нейронаукам, интересующихся когнитивными проблемами (8).

Математическая теория интеллекта также утверждает, что на базе врожденных структур-архетипов возникают модели конкретных объектов и ситуаций, а связь инстинктов с концепциями осуществляют эмоции. На этой основе выдвигается гипотеза о гибели древних цивилизаций, культур как следствии нарушения синтеза языка и мышления, превалирования дифференцирующих тенденций, отрывающих творчество от потребностно-мотивационной сферы человека (9). Оспаривая тезис структуралистов о произвольности языкового знака, автор формулирует мысль, неоднократно подкрепленную фактами истории языка (в трудах А. А. Потебни и др.) и современными исследованиями, отводящими особую роль корню слова в формировании концепта (В. В. Колесов): «новые слова в языке возникают вовсе не как случайные сочетания звуков, а в результате медленного процесса дифференциации слов, происшедших когда-то от *общего корня – понятия*» (с. 9, 209). Приведенная аргументация раскрывает новые грани отношений мира отдельных образов ментального пространства и образа мира, картины мира в целом.

Если рассматривать контекст в широком культурологическом плане, как среду бытования языка и его единиц, связь лингвистических и энциклопедических знаний становится еще более очевидной. По словам М. Бахтина, «слово не забывает своего пути и не может до конца освободиться от власти тех конкретных контекстов, в которые оно входило» (1, с. 418). Эта память слова отчетливо выступает в случаях рефлексии специалиста, профессионально работающего со словом. Приведем фрагмент переписки Л. К. Чуковской с поэтом Д. Самойловым: «Я старше Вас на 15 лет, и потому дореволюционное словоупотребление *помню* (курсив автора – Н. С.), а Вы знаете его только из книг и допускаете некоторые невозможности. Так, например, слово *«переживать»* не употреблялось так, как употребляет его м-ме Алевтина; переживать можно было и горе и радость, оно употреблялось всегда с дополнением («Я пережил потрясение, счастье, смерть отца»); это только теперь «она так переживает» значит: расстраивается, волнуется, огорчается: «Она переживает, что ее сын провалился», «Как? Ваша жена еще переживает?» и т. д. Это современное мешанское выражение – уже повсеместное – а не тогдашнее... было: «это человек *обязательный*» в том смысле, что положиться можно, а вместо теперешнего *«обязательно»* было *непрерменно* (курсив автора – Н. С.)... не говорили *«представляет»* без *«себе»*, если без – то «вообразите»; не говорили *«к примеру»*, но только *«например»*. Тут можете мне поверить на слово... Слово *гардероб* не значило тогда шкаф для платья (он назывался «платьяной шкаф») или

«зеркальный шкаф»), а гардероб – это было *самое платье* (курсив автора – Н. С.), то есть вся ваша одежда в совокупности: «мой гардероб весьма скуден, убог или богат». Кроме того, слово «забрать» означало отнять, отобрать насильно или арестовать: «его забрали». А сейчас стали говорить: «я забрал свою шапку» вместо «взял». Приведенные фрагменты иллюстрируют действие в языке не только собственно лингвистических закономерностей (расширение значения, метонимический перенос по пространственной смежности, семантическое стяжение и др.), но и общих тенденций к стилистическому снижению, опрошению и даже, согласно авторской рефлексии, «омещаниванию» языка, к отходу от норм интеллигентной речи. Показательно, что разговорное «к примеру» проникает даже в научные тексты начинающих лингвистов-исследователей. Об активном влиянии историко-культурной среды на осмысление слова свидетельствуют и целенаправленные, отрефлектированные явления произвольной этимологизации: «Аэроплан – наркотик, продаваемый в самолетах. Галстук – информатор в галстук. Гейша – завязавший со своей нетрадиционной ориентацией. Джек-пот – Джек-Потрошитель на наших улицах. Лишайник – член комиссии по делам несовершеннолетних. Муфтий – слесарь по трубам. Пролетарий – прогоревший бизнесмен. Страхование – просмотр фильма ужасов. Феномен – мужчина, пользующийся феном. Штурка – Турецкая тысяча (Павел Козлов. Очень толковый словарь-II).

В пользу единой природы всех видов информации, укорененности языка в человеческом бытии и деятельности говорит их общая ассоциативная составляющая, связь с такими видами мыслительных операций, как сравнение, классификация, обобщение (6, с. 261), участие аналогии, отождествления, противопоставления в процессах речемыслительной деятельности. Кроме того, с номинацией реалии в разных языках связаны различные ассоциации со словом в зависимости от условий культуры, быта, географии и т. д., и это различие в номинативной деятельности отчетливо обнаруживают явления лакунарности, например, в случаях видо-родовых замен в языке перевода, не располагающем однословными номинациями для передачи дифференциальных признаков лексического значения слова исходного языка. Ср. фрагмент текста Н. В. Гоголя: «бережлива старушка, и *салопу* суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться племяннице внучатой сестры...». Подчеркнутая номинация переводится на немецкий язык словом “Mantel”: 1. Пальто, плащ, шинель (2). В академическом семнадцатитомнике «салоп» толкуется как «верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук или небольшими рукавичками, теперь вышедшими из употребления». Как видим, здесь не отмечена и утрата ассоциаций, связанных со словом русского языка, в связи с изменением историко-культурного контекста. По словам Л. Перловского, английское слово «прайвэси» (privacy) трудно перевести на русский язык, потому что оно содержит концепцию, почти не существующую в русской культуре – концепцию человеческой личности, независимой от других людей, государства и социальных институтов» (9, с. 222). Автор объясняет это тем, что в 1213 году в Англии была принята «Хартия вольности», декларировавшая права частной собственности, и через 2 века не осталось здесь лично несвободных крестьян, в 17 веке Дж. Локк в английской культуре впервые дал идею равенства всех перед законом. «А на Руси еще в первой половине 18 века

секли дворян, до конца 19 в. – крестьян, а о правах личности после 1917 года не могла быть и речи... Слово «коммунизм» в России соединилось с понятием коллективности, соборности, «все вместе», и это было частью русской культуры... Слова языка в какой-то мере определяют сознание» (9, с. 222). Так в популярной форме излагается мысль Бердяева и об истоках русского коммунизма и положения, связанные с гипотезой лингвистической относительности Сепира-Уорфа. В тексте выражена надежда, что «слово «прайвэси» или другие слова, звучащие по-русски, но с таким же смыслом – сочетающим понятия индивидуальной личности, свободы и ответственности, – войдут в русский язык и станут неотъемлемой частью сознания» (9, с. 222).

И если «инстинкт к знанию соединяет концепции мысли с предметами и действиями», то мысль безусловно имеет для человека смысл и он «хочет выразить мысль словами... Например, русский человек, мысля о национальной гордости, говорит: «русский дух, Евразия», а слушающий воспринимает эту мысль как «Порабощение стран Восточной Европы». В этом примере у говорящего и слушающего различный жизненный опыт и одна фраза вызывает различные эмоции и имеет для них различный смысл» (9, с. 227).

Различие в типах ментальности этносов может проявляться и в эмоциях героев художественного текста по поводу словоупотребления оппонента, в разных стратегиях обращения к слову-маркеру автора и персонажа, в нарушении принципа толерантности в межкультурном взаимодействии: «Все было не по ней (американской свекрови – Н. С.), все не так: и зачем Танечка чад напускает на кухне, если можно сходить поужинать в *ресторан*, и почему *получку отбирает* у супруга вплоть до последнего *цента*, и как она *смеет* говорить про него – *козел...*» (В. Пьецух. Три рассказа).

Разные ассоциации могут быть связаны со словом и у носителей одного языка, в зависимости от их духовного облика, субкультуры, групповой принадлежности и становления значения в онтогенезе. Так, сходные с отмеченными выше различиями в межкультурной коммуникации признаки становятся дифференцирующими значения слов в детской речи, в диалогах со взрослыми:

«– Хлеба хочешь?

Да.

Тебе корочку?

Нет, хлеба.»

Или разожгли костер:

«Это огонь или пожар?

Это костер. (Про себя уточняет: «Нет, это не огонь и не пожар, а костер»).

Другой диалог:

«– Наденешь пилотку?

Нет, шапку.

Спустя некоторое время: «А пилотка что ли, тоже шапка?»

Современная языковая личность может принимать или не принимать внешние и внутренние заимствования, более того, они привлекают внимание говорящих как слова-сигналы определенного времени, слова-хронофакты. Так, индивидуально-авторские ассоциации, не всегда совпадающие с метаязыковыми научными, обнаруживает лексическая структура рассказов В. Пьецуха,

дающего в подстрочнике толкование тех ассоциаций, которые слово вызывает: «Переворот этот заключался в том, что ничего не стало стыдно – ни голого меркантилизма, ни жестокости, ни тяги к подлым* удовольствиям, не говоря уже о том, что стало не стыдно не знать простых истин и не читать.

*В старорусском смысле – неблагородный, подлежащий угнетению за низкие умственные способности и отсутствие понятия о добре».

Опровержение философом Петушковым теории Фейербаха сопровождается рефлексией персонажа по поводу правомерности использования молодежных жаргонизмов: «Марксисты отдыхают*», так как если на первый подвопрос (человек ли создал бога в своем сознании, или бог воспитал человека из пустяка – Н. С.) ответить утвердительно, то становится очевидной первичность сознания относительно божия бытия. Фейербах безапелляционен в том смысле, что человек создал бога в своем сознании. Нам, в свою очередь, ясно, что бог воспитал человека из пустяка...

*Позже он убрал этот *вульгарный молодежный неологизм* и долго мучился в раздумье, чем его заменить».

Ср. еще: «Как раз в тот день, когда философ Петушков принялся за опровержение Фейербаха, а Воронков созвонился с профессиональным мокрушником* Пружинским на предмет устранения Севы Адинокова, вдова Новомосковская написала нижеследующее письмо...

*убийца на русской фене, безобразно грубом, но редко определительном языке» (В предчувствии октября). Здесь можно говорить и о мире образов как отражении образа, картины мира (автора и персонажа) в связи с их персониферой, семантикой имен собственных и заглавия текста: «Искусство само образует один из виртуальных миров, составляющих часть окружающей человека среды его обитания (надо добавить – и провоцируемых этой средой – Н. С.) (с. 94).

Таким образом, даже элитарная языковая личность не только оказывает влияние на среду обитания, но и испытывает обратное влияние этой среды: еще Л. С. Выготский знал, что регулирование посредством слова чужого поведения постепенно приводит к выработке вербализованного поведения самой личности (4). В этих процессах ею используются продуктивные модели современного словообразования: сложение с использованием иноязычных составляющих, семантическая деривация, обратное словообразование, как в следующих фрагментах из повести М. Чулаки «Новый аттракцион»: «Степан Васильевич теперь снова возвращался без охраны, и снова его охватывала *подъездодобия*... Старые продавщицы знали и уважали и самого Степана Васильевича, и его жену Валентину Егоровну, всегда откладывали для них, если *выбрасывали*» вдруг какую-нибудь редкую копченую колбасу или красную рыбу. А теперь и продавщицы почти все сменились, и откладывать нет никакого смысла, все выставлено в изобилии – а купить не на что. И слово *выбрасывать*» вернулось к первоначальному обыкновенному значению – всего лишь избавляться от ненужной вещи (рефлексия над словом обнаруживает динамику концептуальных признаков, стоящих за словом, – одноразовости, случайности, хаотичности, пренебрежения к покупателю, и отражение этой динамики в явлении многозначности – Н. С.) ... Бывает, от таких ударов по башке способности открываются. Ванга болгарская тоже – едва не померла сначала, зато

начала потом *ясновидеть*. Вот и я попробую... Степан Васильевич ободрял Ивана, но не хотел бы оказаться в таком положении. И не надо потом никакого *ясновидения*... Читатели-то как раз ценили и зачитывали его книги до *полураспада*, когда выпадала половина страниц, зато критики высокомерно третировали за простой прямой смысл: им подавай выверты и намеки с двойным подтекстом».

Неоправданные, не предусмотренные даже элитарной языковой личностью ассоциации могут быть объектом рефлексии специалиста-филолога:

«Украшающие недостатки.

Но о самом Генесе: «Точность для Довлатова была *высшей мерой*». Но ведь не расстрелом? Или: «Вечером в нью-йоркском Централ-парке «нас окружила *стая* чрезвычайно рослых негров». Бывает стайка воробьев, но не СТАЙКА орлов или страусов». (К. Ваншенкин. В мое время). Автор отмечает и жанровое несоответствие ассоциативного строя текста, расцениваемое как пародия на жанр. Пародийная струя создается многократным повтором слов с семей «неопределенности» и лексем излишне общей семантики, не раскрываемой в лексической структуре текста. Нарушение норм жанра мемуаров ведет к тематической ущербности текста, его информационной недостаточности (вспомни принцип максимума информации); а также к поспраанию системы этических ценностей адресата, утверждению цинизма:

«Мемуаристы.

В чем смысл всяких мемуаров? Естественно, не в общих словах, а прежде всего в подробностях. Чем наблюдательней мемуарист, тем интересней, достоверней его воспоминания. «Документальный рассказ» без каких-либо деталей, черт и черточек – пародия на мемуары.

Людмила Давидович вспоминала: «Говорить о Викторе Драгунском можно долго и интересно». Посмотрим, что же у нее получилось: «Это было в 1947 году. Я пришла в гости к моим *большим друзьям*, журналистам из «Комсомолки», и туда же пришел *довольно молодой человек*, которого я раньше *где-то* видела, но не была с ним знакома. Шел *какой-то* довольно оживленный разговор, а потом *этот человек что-то* сказал, раздался взрыв смеха. *Все*, что он рассказывал, было *интересно* и *очень остроумно*... *Весь долгий* вечер он был в центре внимания. Было *какое-то* удовольствие от общения с ним».

Я уже не говорю, как это написано. Она «пришла», он «пришел», разговор «шел». «Довольно молодой человек», «довольно оживленный разговор». Главная особенность этого «мемуара» в полном отсутствии конкретного: «где-то видела», «какой-то разговор», «что-то сказал», даже удовольствие было «какое-то». И все это якобы «интересно и очень остроумно».

Или вот – прочел в воспоминаниях об Арсении Тарковском: «Я, очень обрадованный тем, что увидел старика *на своих двоих* (разрядка моя – К. В.) гуляющим по улице...». Но ведь мемуарист знает, что поэт потерял на войне ногу, отнятую очень высоко, и в течение десятилетий передвигался на протезе или на костылях, – и то, и другое было для него мучительно! И ведь мемуарист всю жизнь имеет дело со словом! Как же так? Может быть, все-таки внимательней себя перечитывать? Из той же книги – об актрисе: «Это была *самка-пантера* в *хорошем понимании* этого слова». Добавить нечего» (Там же). Неожиданное текстовое столкновение смыслов слова и фразеологизма, содержа-

шего сближенные со словом компоненты, выявляет авторские стратегии (графически подчеркнутые) в развертывании сюжета и раскрытии смысла заглавия произведения как тематической свертки текста: «Собрат-долгожитель приказал долго жить (курсив автора – Н. С.). Но это не могло быть просто так. Это не могло быть случайно. Ведь с какой *наследственностью!* С какими *генами!* И всего *каких-то 68* (курсив автора – Н. С.). Бред!» (В. Маканин. Долгожитель).

Интертекстовая перекличка как проявление единства культурного пространства участвует в осмыслении значимых элементов композиционной структуры художественного текста – его заглавия и ассоциативно-семантических целей, связанных с ним или – шире – с мотивационной сферой языковой личности главного персонажа, сближенного с автором, выявляемой в противопоставлении речевых оценок другому языковому вкусу в диалогическом споре. Ср. в этом плане два разных текстовых фрагмента, имеющих черты композиционного и лексического сходства с предыдущим:

«Другая жизнь.

У Юрия Трифонова есть превосходная повесть «Другая жизнь»... Как только его книга вышла и критика стала восторгаться сочетанием этих двух слов почти как формулой, я спросил у него, помнит ли он мою повесть... написанную за семь лет до «Другой жизни»... «Ты знаешь, критики обратили у меня внимание на эти слова, *потому что я вынес их в заголовок*». Трудно не согласиться» (К. Ваншенкин. В мое время); «– Лопают много, ее (собаку Феню – Н. С.) надо Фенелопой называть, – примирительно обобщил Степан Васильевич.

Потому что у щенков сытости нет. Тем более, если бездомность в *генах*. Валя как ухватится за одно слово, так и не может отвязаться. «*Гены*», видите ли. А на самом деле *наследственность* – штука совсем непонятная» (М. Чулаки. Новый аттракцион).

Интертекстуальные связи слов вводят, казалось бы, в совершенно чуждое им культурное пространство, оставаясь недостижимым образцом в последующих интерпретациях, потому что «центральным моментом в восприятии является процесс идеализации, сотворчества, трансцендентальный скачок от реального к идеальному. Этот скачок субъект совершает на основе внутренне присущего ему стремлению к максимуму информации. Это скачок к идеалу – ближайший родственник иллюзии восприятия... прекрасной (доставляющей эстетическое наслаждение) будет не всякая реальность, а лишь достаточно близкая к идеалу, лежащая в сфере его притяжения» (10, с. 172). О том, что идеал выступает аттрактором для сотворчества, свидетельствуют современные поэтические тексты:

«Возле разбитого вокзала
Нещадно радио орало
Вороньим голосом. Но вдруг,
К нему прислушавшись, я понял,
Что все его слова я помнил.
Читали Пушкина...
И вдруг бомбежка. «Мессершмитты».

Мы бросились в кювет. Убиты
 Фугаской грязный мальчуган
 И старец, грозный, величавый.
 «Любви, надежды, тихой славы
 недолго тешил нас обман» (Д. Самойлов)

«На холмах Грузии лежит такая тьма,
 что я боюсь, что умру в Багеби.
 Наверно, Богу мыслилась на небе
 Земля как пересыльная тюрьма»
 (Александр Еременко)

«Где, медленно пройдя меж пьяными,
 всегда без спутников, одна,
 дыша духами и туманами,
 присаживаюсь у окна.
 И веет древними поверьями
 мой эксклюзивный секонд-хэнд,
 и челка, травленная перьями,
 и «Прима» в пачке из-под «Кент».
 Чтоб незнакомец упакованный
 за чаркою очередной,
 внезапной близостью окованный,
 увидел в барышне сюрной
 с физиономией зареванной
 не эту мелкую деталь,
 но некий берег очарованный
 и очарованную даль»

(Полина Иванова // Цитируется по: 5).

Общекультурную значимость разных видов информации, замыкающей на слове, обнаруживает диффузность и энциклопедичность семантики идентифицирующих слов, прежде всего конкретных имен, имен собственных, синкретичность значения которых делает их неудобными для проведения семного анализа, но благодатным объектом анализа концептуального, культурологического.

Культурная составляющая находит свое воплощение и в реалиях обыденного сознания, преломляемых в именах собственных как в художественных текстах, как и текстах языка практического. Ср., например, приведенную выше мотивацию клички собаки – Фенелопа или объяснение названия языческого праздника в газете «Аномалия»:

«Купала – праздник летнего солнцеворота.

Летний солнцеворот, макушка солнечного лета, самое красивое время года, носит на Руси емкое имя – Купала. Купала вмещает в себя такие понятия, как «купать», «купель», связанные с купанием, как и «кupu», «купину» – большой сбор, ведь на этот праздник собирается много народа. В других славянских странах этот праздник носит название «собутка», что несет в себе тот

же смысл. В это время зерно скупляется в колосья, накапливает энергию. По народной молве, дети, зачатые на *Куналу*, рождаются здоровыми, красивыми и добрыми» (№ 12 (120), 1996 г.).

А победителем конкурса занимательных историй о животных (в номинации «имя») стал автор, организовавший лексическую структуру текста рассказа с помощью окказиональных имен собственных, вызывающих ассоциации с реалиями народной культуры и современной политической, бытовой, культурной (включая языковую) жизни. Ср.:

«Любимый зверь.

Хотите увидеть его мать? – спросил торговец.

Не-е-т! – дружно заорали мы в надежде никогда не узреть матушку нашего ужасного зверя. Ведь имя ему – *Кузька*, причем появилось оно у нас раньше, чем сам зверь.

А страшен он порочной склонностью к терроризму:

– он прерывает нашу связь с внешним миром, перекусывая телефонные провода, причем зарядные устройства мобильных и компьютер тоже лишаются своих жизненных артерий;

– кусает без разбору всех не знакомых ему людей, вероятно, считая их неверными, за что и прозван *Кузьма бен Ладен*.

Еще одно имя – *Кузянова* – зверюга получил за великую любовь к литературе: он буквально пожирает книги (Толкиена проглотил за каких-то пару часов), и за страсть к разнообразным плотским утехам (горе нашим котам).

Ко всему этому мы все до сих пор не можем определить, кто же этот кошмарный, столь любимый нами зверь – кроликовый бегемот или бегемотовый кролик!» (Михаил Мишталь).

«Redя

Мой кот по кличке *Redя* –

Желтый, как пустыня,

Он никому не *vRedен*,

Лишь хомяку противен.

Он *Redко* хулиганит,

Царапается *Redко*,

Он дремлет на диване,

Как сытый рысь на ветке.

За нрав смиренный, *Redкий*,

За *Redкую* породу,

За цвета меди морду,

Он носит имя *Redька*.

Матвей Мишталь

(ДКД май 04. № 582)

Имена собственные, как видим, будучи ключевыми словами текстового фрагмента и текста в целом, организуют его ассоциативно-семантическое поле, передающее фрагмент картины мира и авторскую концепцию одного из

возможных миров, формирующих образный уровень текста, и выполняют в нем не только жанро- (рассказ) и стилиобразующую функцию, но и сюжетообразующую. Это относится к текстам языка не только практического, но и к художественной речи, где композиционно-стилистическая функция имен собственных особенно очевидна: «← Почтеннейшая публика, предлагаю вашему вниманию новый аттракцион! Выступает девица собачьего племени *Фенелопа Дикая!!!* (Речь идет об аттракционе в вагоне метро, придуманном для заработка пенсионером Василием Степановичем – Н. С.)... А почему Дикая? Не намек на то, что *Феня* пришла из дикого собачьего племени. И тем более – не воспоминание об актере *Диком*, который когда-то играл в кино самого Сталина. *Дикая* она стала в честь *Дика*, ведь это *Дик* (пес – Н. С.) ее нашел когда-то беспомощной малюткой, а не нашел бы – не было бы выступлений в метро, поздних возвращений, пьяного в *Таврическом пруду* (топоним создает иллюзию достоверности происходящих в повести событий, служит одним из сигналов художественного хронотопа – Н. С.), паралича задних лап... Вот так в жизни все цепляется одно за другое. Но пассажирской публики это решительно не касалось» (М. Чулаки. Аттракцион).

В иерархической структуре культурных ценностей этические нормы, действующие в культуре, признаются одним из важнейших критериев различения картин мира в тех или иных субкультурах (об этом уже частично шла речь в предшествующем изложении). Борьба за «свою» этическую позицию, «свою» картину мира порождает коммуникативную стратегию самообороны, особенно в условиях бытового, семейного и т. д. конфликтного общения, где несдерживаемая эмоция получает непосредственное выражение. Ср. фрагменты из «бесед» в транспорте: очень полный пожилой мужчина уступает место женщине, а та сажает свою больную внучку. Мужчина негодует, стыдит девушку. Бабушка: «Ксюша, уступи место человеку, а то ему скоро в декрет идти, он стоять не может»; в ответ на замечание пассажира «Вот поэтому они (молодежь) и садятся нам на шею» звучит реплика: «Вам это не угрожает. Садятся на умную голову». У каждой стороны своя правда, и отсутствие толерантности к ценностям другого рождает взаимное непонимание, речевую агрессию. Культурные смыслы, утверждающие определенные этические ценности и возникающие в случаях необычных сочетаний слов или иронического использования языковых стандартов, в явлениях текстовой семантизации слова, особенно разнообразны в художественных текстах, их образной системе. Так, для выражения нетривиальной концепции автор может возвращаться к зародышу концепта, стоящего за словом, к его первоначальному, буквальному и синкретичному смыслу, раскрывая содержание ключевого слова-номинации художественного концепта в ассоциативно-семантическом поле слова. Названный прием использован в следующем тексте для интерпретации героем смысла слова безразличие: «Теперь я думаю, что именно тогда, поняв, что я не буду биться с майором (из-за пропавшей дочери – Н. С.), Леля стала меня презирать. Не спросив и не разобравшись, почему я повел себя так, а не иначе. Ей, видимо, скучны были все мои объяснения и доводы. Я вел себя не так, как должен был, по ее представлениям, себя вести. И этого было вполне с головой достаточно. И для *презрения*, и для того, чтобы *отгородиться* от меня, *замкнуться* в себе самой и начать обрастать *скорлупой безразличия*. *Безразличия* ко

всему оставшемуся. Такие *потери* порождают иногда в людях, и особенно в женщинах, именно это *состояние*. *Устойчивое состояние безразличия*. После таких *потерь* все другое *различается* плохо. И нет никакой *потребности* что-то там такое *различать*. Все окружающее понемногу – или в один момент, это у кого как – *тускнеет, теряет свои очертания и становится неразличимым, не имеющим различий, то есть безразличным*. В полном и буквальном понимании. А слова и нужно понимать буквально. Буквально и больше никак. И сменим тему на противоположную и далекую. От *потерь* перейдем к *приобретениям* (А. Хургин. Кладбище балалаек). Для текстовой семантизации ключевого слова задействованы и стандартные причинно-следственные связи (потеря – безразличие), и вся совокупность лексикосистемных связей (от родо-видовых в передаче различных видов состояния персонажа до метонимических, связанных с перенесением особенностей восприятия мира на его реалии, и антонимических; а также связи синтагматические (формула спокойствия, безразличия с метафоризацией состояния отчуждения) и ассоциативно-деривационные), и рефлексия над словом, и указание на тему фрагмента как элемент его композиционной структуры, и апелляция к гендерному аспекту, к препозициям в характеристике мотивационного уровня, уровня самосохранения, и др. Разнообразные культурные смыслы, включая и этические, просматриваются в лексической структуре художественных текстов других авторов. Так, интерпретации подвергаются культурные традиции, особенности ментальности современника, его словоупотребление, его связь с типом дискурса и статусом личности, научные термины, расширяющие пучок своих концептуальных признаков и утрачивающие однозначность и точность смысла при перенесении их в иноязычную среду: «А какие у людей были *подробные отношения!* Из-за того, что телевизоры еще не появились, моя родная тетка три года переписывалась со своим женихом, который жил в соседнем колхозе, потом два года его муржила, наконец, вышла замуж и развелась. Говорит мне потом: «Вот что значит *скороспелые браки!* Как-то я впопыхах не обратила внимания, что он *всю дорогу* выговаривает – «магАзин»... Кеша: «А что такое, по-вашему, *русский интеллигент?* Я: Наверное, это такая степень любви к самому себе, которая обеспечивает почтительное отношение к последнему паучку...

Всяк. *Этим неблагозвучным словом у наших сыщиков* называется нераскрытое преступление, из тех, что вообще редко поддаются расследованию, обогащают отчетность, но *почти не влияют на профессиональное реноме*...

По причине такой *избыточной и прихотливой витальности* (грабежи, убийства, пьянство – Н. С.) того оказалось мало, что один Сергей Христофорович Свистунов охранял по ночам *церковное имущество*...» (В. Пьецух. Три рассказа).

Близость культурных смыслов, создаваемых в обыденном сознании миром вещей и миром слов, подтверждается и данными эксперимента по выявлению особенностей национального характера этноса. Так, элементы наивной этики проявляют себя в том, что в свободном ассоциативном эксперименте у девочек 6-7 лет (80-е и 90-е годы) шкала ценностей практически не изменилась – «как до, так и после перестройки большинство «хороших» слов (тех, которые нравятся самим детям) у них были связаны прежде всего с семьей (мамочка, папа, бабушка), однако они касались и мира животных, сказок, развлечений,

игрушек, природы, человеческих отношений». У мальчиков «среди “плохих” слов, хотя и назывались герои мультфильмов и фильмов ужасов, однако процент таких ответов был незначителен; основную массу составляли слова, отражающие криминальные проявления в обществе: война, зло, преступники, бандиты, стрелять, убить, Чечня, жечь, грабить, воры, кровь...» (7, с. 65).

Итак, картина мира как глобальный его образ находится в коррелятивных отношениях с мирами образов, создаваемых в конкретных ситуациях общения, в лексической структуре текстов.

Литература

1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Киев, 1994.
2. Большой немецко-русский словарь. М., 2000.
3. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. М., 1982.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. М., 1982. Т. 2.
5. Губайловский В. Неизбежность поэзии // Новый мир. 2004. № 2.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
7. Мельникова А. Язык и национальный характер. СПб, 2003.
8. Первая Всероссийская конференция по когнитивной науке. Казань, 2004.
9. Перловский Л. Сознание, язык и математика // Звезда, 2003. № 2.
10. Цветущая сложность. Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов. М., 2004.
11. Философский словарь. М., 1991.